

Татьяна Панкратова

Борис
и Глеб



Татьяна Панкратова

Борис и Глеб

«Четыре четверти»

2018

Панкратова Т.

Борис и Глеб / Т. Панкратова — «Четыре четверти», 2018

ISBN 978-985-581-166-5

Роман о поколении 1920-х годов, молодых ребятах и девчонках, которые попали на войну, и об истории одной семьи с начала века и до наших дней, основанный на воспоминаниях бабушки автора. В центре романа судьбы двух братьев-близнецов Бориса и Глеба, они мечтают попасть на фронт, но Борису повестка приходит, а Глебу нет.

ISBN 978-985-581-166-5

© Панкратова Т., 2018
© Четыре четверти, 2018

Содержание

1	6
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Татьяна Панкратова

Борис и Глеб

© Панкратова Т., 2018

© Оформление. ОДО «Издательство “Четыре четверти”», 2018

1

Бабушка почти ничего не видит. Врачи в последние годы только вымогают деньги, сделали операцию, которую нельзя и не надо. А теперь и вовсе от нее отказываются, говорят: «Что же вы хотите, вы ведь уже старая». А ей только восемьдесят три и она совсем не старая, все еще поет в хоре ветеранов, покупает себе нарядные сережки, красит губы помадой, помнит все даты дней рождений и номера телефонов наизусть, и все еще ездит судить свои шахматы, и все еще шутит, не унывает, читает стихи. Уже тридцать лет прошло, как не стало дедушки Вити, она живет одна на высоком для нее четвертом этаже в старом, уже и не сталинском, но еще и не хрущевском, четырехэтажном доме с колонкой и двойными рамами. Когда-то и мы жили рядом, в соседнем доме, в коммуналке. Я там родилась, в Долгопрудном, в этом маленьком старом городе с всегда стоящим переездом и с выдающимся институтом физиков. Там было тесно и радостно, и мы все мечтали переехать в собственную квартиру, переехали и развалился Союз, и развелись родители, и стало горько и плохо, и очень хотелось обратно в ту комнату в коммуналке. Даже мне, хотя я помню совсем мало, мне было три, а брат как будто навсегда остался там. И с бабушкой мы почти перестали общаться, это ведь была папина бабушка, и жила теперь она не близко, да и всем всегда казалось, что бабушка такая сильная духом, что ей всегда лучше одной. Папа часто с ней ругался, все что-то не мог простить, злился и не любил нравоучений, и всегда ревновал ее к младшему брату, к Леше, и назвал меня Таней, в честь другой бабушки, в честь своей тещи. А потом прибавилась еще какая-то негласная обида, за то, что бабушка отписала свою двухкомнатную квартиру Ире, моей двоюродной сестре, Лешиной дочери, об этом никто не говорил вслух, только в воздухе висело. Но это ведь было справедливо, она растила Ирочку как дочь, а нас почти не видела, я ее почти не знала, после развода она всегда поздравляла нас с днями рождения, всегда звонила, читала стихи и дарила нам связанные свитера, шкатулки, которые выжигала и всякие интересные штуки. Пару раз мама привозила нас к ней, но я всегда боялась ее, она была как чужая, я знала о ней только по маминим рассказам, хотя я больше всех на нее похожа, у меня ее вишневые глаза и фигура. А я даже называю ее до сих пор на вы, все никак не могу привыкнуть на ты.

Она одна, папа конечно ей теперь часто звонит, дядя Леша тоже, а приезжают все реже и реже. Бабушка никогда не жалуется и мне она всегда говорила: «Пожалеть не пожалеют, а уважать перестанут». Я приехала к ней по какому-то поводу, уже и не вспомню какому, наверное, какой-то день рождения, и мы разговорились ни с того ни с сего, мне просто было интересно, мне все хотелось спрашивать, что значат фотографии на стенах, кто такие Борис и Глеб, и что это за красивый парень в погонах, в которого я влюбилась еще в детстве, когда увидела, и почему моего брата хотели назвать Львом. И она на все мне отвечала и рассказала мне всю свою жизнь. Как же больно, как же жалко, что мы не общались раньше. Ведь все это часть меня, ведь эта их жизнь проживает во мне. Все они были, и часть всех их есть во мне, сколько же судеб людей сплетено в одну мою и цепочка пойдет дальше, к моим детям, внукам ... Будут ли они знать, помнить обо мне, расскажет ли им бабушка, как рассказала мне моя, сохранит ли мои вещи и фотографии, покажет ли им...

Я поехала искать их, всех моих родных и незнакомых, которых уже не было, и которые оживали только в бабушкиных воспоминаниях.

Шел необычайно белый сказочный снег. Медленно, как в стеклянном шаре. Я искала в Люберцах место, где раньше был дом, в котором родилась бабушка, его построил в конце девятнадцатого века мой прапрадед. Казалось, не найду. Папа с бабушкой давали разные ориентиры, совсем меня запутали, да и многого уже не было, они ведь сами там давно не были. И вдруг я увидела ее, ту самую большую березу, о которой столько говорила бабушка. Хотя на березу она уже перестала ходить, такая старая, ей больше ста лет. Ствол совсем почернел,

ветки иссохлись, точно руки старухи, кора испещрена порезами. Ее посадил мой прапрадед, она помнит мою бабушку девочкой, а ее братьев мальчишками. Я обняла ее крепко-крепко, как всех своих родных, которых так и не узнала. И холодной щекой почувствовала тепло где-то внутри, сок потек белый прозрачный, как слеза. Значит, и она меня узнала, почувствовала. Я так долго ее искала. Она росла возле большого дома, улица тогда называлась Зубарёвской, и была она песчаной, деревенской, по ней водили коров и лошадей, ребятишки носились без умолку, скрипели калитки и заборы стояли редкими деревянными кольями, рядом был яблоневый сад.

Дом снесли еще в середине прошлого столетия, жильцов расселили в новостройки, хрущевские пятиэтажки, дорогу застелили асфальтом, и шум машин теперь заглушает ребят, да и ребят теперь во дворе не найдешь, как не найдешь и самого двора – все застроили стоянками и дорогими магазинами, деревья срубили, осталась только эта береза. Она пережила революцию, войны и перестройку, и все стоит, все живет. У бабушки есть фотография, где она молодая девушка обнимает такую же молоденькую стройную березку. Так странно, она там такая юная красавица, у нее раскосые темно-вишневые глаза, это от мамы, и такая озорная улыбка, и темные кудри. А сейчас эти глаза почти не видят, морщинки как мрамор расплзлись по лицу, а в прошлом году и вовсе застудила нерв и лицо перекосило, жевать теперь совсем тяжело. Но ведь все это было, куда же оно делась, как так быстро все произошло? Неужели с нами со всеми будет также, и никто не вспомнит какие мы были молодые, красивые? Бабушка не унывает, она у меня молодец, только скажет свое привычное: «Обидно, досадно, ну ладно». И запоет песню или прочтет мне стихи и обязательно накормит. Она пережила войну и не понимает, как мы можем не есть, не доедать, она до сих пор вылизывает тарелки, привычка такая. И я стараюсь есть через не могу, как в детстве, когда она нам с Ирой давала тарелки с рисунками из сказок на дне, и пока не доешь – не узнаешь, что там за сказка тебе досталась. Ирка ела старательно и не халтурила, я была хитрее – съедала все посередине тарелки. Когда мы не хотели ложиться спать днем, бабушка играла с нами в игру, нужно было лежать с закрытыми глазами и не шевелиться, кто шевельнется – тот проиграл, а бабушка ходила по комнате и, стоило моргнуть, говорила: «Я все вижу». Так мы засыпали.

За один мартовский вечер бабушка рассказала мне всю свою жизнь. В такой же мартовский вечер почти век назад родились близнецы, бабушкины братья, Борис и Глеб.

Они были не первыми, за три года до них родился Лев, первенец, самый старший, тот самый парень в военной форме на фото, в которого я была так влюблена в детстве, в те редкие разы, когда я бывала у бабушки, я всегда подбегала посмотреть на него. Фотография стояла на серванте и я тянулась на мысочках, чтобы разглядеть и запомнить его получше, он был как киноактер, как картинка из журнала, как принц из сказки. Мне всегда казалось, что именно таким и представляют себе все девчонки своего единственного, о таком мечтают, высокий широкоплечий, с ровными чертами, светлыми глазами и волосами, он был красивее, чем Бред Пит и Леонардо Ди Каприо вместе взятые. Родись он в наше время, у него были бы все шансы стать знаменитым, вряд ли он бы этого захотел, но внимания от женщин было бы не избежать. В детстве он тоже был очень хорошеньким, таким пухлым ладным карапузом, по тем временам, середина двадцатых, это была редкость. А он был, как пупс из фарфора, крепенький, здоровый, пухлогубый. И все удивлялись:

– Ну и богатырь!

Лев родился семнадцатого февраля двадцать второго года. Назвали по святцам, восемнадцатого день святителя Льва. Окрестили через неделю после рождения в Троицком храме. Стояли февральские морозы, в храме не топили, да и собирались в скором времени закрыть. Даже взрослые продрогли, а Лев, сколько его не окунали, ни разу не заплакал. А когда завернули в одеяло и дали на руки крестной, тете Вере, и вовсе сладко заснул.

Когда родились близнецы, Лев сложил все свои игрушки и принес малышам. И во дворе кричал звонким голосом, теперь у меня братья, будем с папой в футбол играть. Папа Алексей, мой прадедушка, очень любил спорт, играл за местную футбольную команду и брал маленького Льва иногда с собой, или с мамой ходили посмотреть на папу. Льву нравился мячик, и он хотел стать футболистом. А папа, сказал, что нужна команда. У него появилась команда. Он с беспокойством разглядывал малышей и спрашивал:

– Ма, а чего ты только двоих взяла? Взяла бы побольше.

Клавдия смеялась.

– Больше пока не дают.

Лев вздохнул.

– Ну что же, и эти пока холошо.

Никто не знал, что их будет двое, в то время не было теперешних возможностей прогнозирования. Удивительно, близнецы родились доношенными и совершенно традиционным способом, без кесарева. Правда, для Клавдии и Алексея, моей прабабушки и моего прадедушки, это был шок, с одной стороны радость, с другой озадаченность, времена были не из легких, на дворе стоял двадцать пятый год.

Они лежали на кровати, завернутые в шерстяные одеялки, и громко плакали. Стоило Борису начать, как Глеб тут же подхватывал и не отставал. Близнецы родились с разницей в полтора часа, первым – Борис, он кричал громче и бойчее. Мир оказался холодным, одеяла кололи щеки, страшно на этом свете, непривычно и даже брат еще незнакомый, одиноко.

Замолкали они только при виде матери, моей прабабки Клавдии, то есть тогда-то она еще не была никакой прабабкой и даже бабкой, ей всего-то было чуть-чуть за двадцать, по теперешним меркам – девушка. Три года назад она вышла замуж за моего прадеда, Алексея, хотя в то время он и не подозревал, что будет дедом, а потом и прадедом, а был совсем молодым парнем.

До чего же она была красивой, глаза цвета спелой вишни, черты лица крупные, четкие, как нарисованные. Однажды Алексей даже взял платок и начал тереть ей щеки, думал, она красится, такая ровная румяная была кожа. Алексей взял ее за красоту, бесприданницей.

Отец Клавдии был священником, жили на Дону в казацкой станице. В революцию отца с матерью расстреляли. Казаков итак не щадили, а тут еще и священник. Детей разобрали родственники от греха подальше, их было шестеро: сестры – Елизавета, Зина, Вера и Клавдия, братья – Николай и младший Женечка, он пел на клиросе, когда арестовали отца, у него пропал голос, больше он никогда не пел.

Всю жизнь прабабушка молчала о своем происхождении, боялась не за себя, боялась за детей. С сестрами сохранилась связь, а братья растерялись. Клаву взяла сестра матери, у нее был дом в подмосковном Воронке. Когда старшая сестра Елизавета вышла замуж и поселилась на Красносельской, Вера и Клава часто бывали у нее. Такой молоденькой, красивой гимназисткой, но без гроша за душой, и полюбил ее Алексей. Он работал тогда часовщиком на Кузнецом мосту и познакомился там с Клавой случайно. А может, и не случайно, может кто-то там на небе уже знал, что так будет, что у них родится моя бабушка, а потом папа, а потом и я.

Повенчались в храме Николая Столпника. Это где-то в Москве, недалеко от Красных Ворот, папа говорит, что можно дойти пешком. Это он рассказал мне об этом, а ему его бабушка Клавдия, в детстве он долго жил у нее. Она водила его в храм, крестила и причащала. В Люберцах тогда был только один храм – Троицкий. Я была там, и если б не подруга, живущая в Люберцах, наверное, не нашла бы. Он далеко от того места, где раньше был дом, целых три километра, через железную дорогу. Клавдия, как и ее свекровь, мать Алексея, моя прапрабабка, Марфа Степановна, ходила туда пешком каждое воскресенье. Он стоит до сих пор, ничуть не изменился, ни разу не был закрыт, храм, в котором крестили Льва, Бориса и Глеба, мою бабушку, папу. Красивый, деревянный, с позолоченными росписями внутри. Ред-

кие ветхозаветные сюжеты, чудотворные лики Богородицы, светящийся лазурью алтарь. Во время службы горят свечи, искусственного освещения нет, а за алтарем проглядывает тихий прозрачный свет и кажется, будто там начинаются небеса, и такое чувство счастья и покоя охватывает душу, словно возвращаешься из дальней дороги в родной дом.

Я там видела впервые изображение Бога-Отца и Моисея, и столько икон Богородицы, разных, старинных, темных, почти закопченных, писанных на дереве, и творящих чудеса. Была и Иверская, и Владимирская, и Казанская и другие, которых я не знаю.

Мы с подругой, той самой из Люберец, добрались туда, когда на улице уже стемнело. Шла служба, народу много, мы поставили свечи и немного еще постояли. Сколько раз здесь были и стояли и мои родные, прапрабабушка, прабабушка, бабушка, папа... Они приходили сюда с надеждой, молились, верили, больше, чем я, наверное, теперь понимаю и верю, да и молится то толком не умею, не научил никто. Марфа Степановна умерла задолго до меня, да и Клавдия умерла почти сразу после моего появления. Но папу она научила, многое ему объясняла, успела что-то передать. Он теперь очень набожный, соблюдает все посты, каждое воскресенье на службе, читает молитвы, все делает правильно и даже хочет рукоположиться. Покойный отец Владимир несколько лет назад предлагал ему стать священником, но папа тогда отказался, а теперь уже и по возрасту не проходит. Правда, я не вижу его священником, никогда не видела, не представляю. Когда он в детстве меня спрашивал, я всегда отвечала ему одно и то же:

– Нет, ты не священник.

Папа улыбался.

– А кто же я?

– Ты мой папа.

Многие думают, что он всегда был такой верующий, но это только последние лет пятнадцать. Раньше он был совсем другой, партийный. Когда в 1974 году моего брата понесли крестить, бабушка сказала, что с некрещеным сидеть не будет, что пока не окрестили он не ребенок, а зверенок, в церкви попросили паспорта родителей, а папа испугался и ушел, он ведь был в партии. У нас дома даже где-то до сих пор валяются эти партийные книжечки, в которых яркими цветными марками отмечены взносы. Тогда это было значимо, а теперь какой-то ненужный хлам. Брата все-таки крестили, в сельской церкви, где не спрашивали паспорта. Со мной и того проще, это уже был восемьдесят пятый.

* * *

У бабушки много старых фотографий. Есть даже рисованные, на плотном картоне, совсем старинные, середины девятнадцатого века, там дамы в кринолинах и с зонтиками и везде стоят подписи фотография такая-то, и все постановочные, как картины. Есть даже одна неизвестная дама в шляпке с попугаем и персиком в руке. Бабушка почти не видит, она подносит фотографии близко-близко к глазам и все равно не все может разобрать. Мы долго не могли найти Марфу Степановну, мою прапрабабку, как раз на этих старых фотографиях. И вдруг я нашла сама, я сразу догадалась по взгляду, по глазам, и бабушка подтвердила. Она мне столько рассказывала об этой женщине, своей бабушке. Очень сильная, волевая, как бабушка выразилась, с «тяжелым характером», строгая и очень верующая в то же время женщина. Всех шестерых дочерей она удачно выдала замуж, и Алексея своего любимого, младшего сына, собиралась женить на состоятельной невесте. А он пошел характером в нее, все сделал наперекор, по-своему, женился на Клавдии и привел в дом бесприданницу. Мне до сих пор кажется, что этот тяжелый характер, перешел от Алексея к моей бабушке, от нее к отцу и достался мне в наследство. Марфа Степановна, увидев сноху, молча сжала губы и, выделив молодым небольшую комнатку, больше никак не участвовала в их жизни, обида была на всю жизнь. Такие

обиды в нашей семье не редкость, если не на всю жизнь, то уж на несколько лет точно, сначала бабушка обиделась на папу, потом папа на нее и на брата, потом я на отца и все гордые, и никто не хотел извиняться первым.

На всех фотографиях, даже, где еще молоденькая, с дочерьми, маленькими девочками в белых кружевах, Марфа Степановна всегда в темном платье под горло, темные волосы уложены в пучок и взгляд неприступный, грозный. Такой же взгляд у моего отца, он никогда не кричит, не ругается, но стоит ему посмотреть – и хочется провалиться сквозь землю. И хотя у нее светло-серые глаза, как и у сына Алексея, у нас с бабушкой и папой вишневые, Клавины, но взгляд, этот взгляд, ни с чем не перепутаешь, от него как будто и цвет темнеет.

Ее муж, мой прапрадед, построивший тот самый дом в Люберцах и посадивший березу, Иван, совсем другой, словно они выбрали друг друга для контраста, впрочем, наверное, так всегда и бывает.

Он служил в жандармерии и носил усы, как у царя. Во время первой мировой войны Ивана наградили Георгиевским крестом. Потом началась революция, разгорелась гражданская война, убили царя, пошли репрессии. Бывших жандармов сажали и расстреливали без следствия, а с крестом и подавно. Сосед, знавший про крест, шантажировал Ивана, все грозился выдать, написать, куда следует. Прапрадед так и не принял новую власть, новое время, новый век. На последней фотографии он уже весь в морщинках и борода совсем посидела, добрый, тихий, удивленный, как ребенок, похож на старца из святой обители, он словно хочет спросить: Что же это? Как же это? С этим вопросом прапрадед и умер.

После его смерти Крест куда-то пропал, а вот жандармские донесения ребята находили на чердаке. Там было что-то вроде: Такой-то такой-то напился...; или такой-то украл у такого-то лошадь или корову...

Сейчас забавно читать это, а ведь это был важный документ, бумажки ветшают быстрее всего.

* * *

Алексей долго рассматривал детей, потом не выдержал и спросил:

– Кто из них все-таки Борис?

Клавдия указала.

– Видишь, он покрупнее и щечки у него пухлее.

– Ааа, вон оно что...

Кивал с понимающим видом Алексей, по-прежнему не замечая в чем разница. Клавдии же казалось, что это сразу видно. Она как мать всегда отличала их, а Алексей так и не научился. Даже потом, когда они подрастут, будет путаться. А ребята нарочно будут шутить над ним – хором отзываться.

Алексей будет сердиться.

– Ребята, а-ну перестаньте дурачиться!

Когда Борису и Глебу исполнился год, неожиданно приехала Елизавета, старшая сестра Алексея, тетя Лиза, как называет ее бабушка. Это было очень странно, ведь сестры, как и мать, так и не простили Алексею женитьбу и не приняли Клавдию, всю жизнь держались стороной. Папа рассказывал, что в те редкие моменты, когда приходилось видеться, они всегда вели себя так, будто бедные родственники пришли к ним просить милостыню. Не все, конечно, были такие, но тетя Лиза самая старшая больше других.

Она была замужем за генералом и жила на Петровке. Как-то так вышло, специально ли, или просто так получилось, но почти все сестры вышли за военных.

На большой фотографии, где они вместе, тетя Лиза дородная, темноволосая, сытно и довольно улыбающаяся женщина, у нее властный взгляд и ярко-красная помада на губах, фото-

графья черно-белая, но даже на ней понятно, настолько алые, как густая темная кровь, губы. Она напоминает мне купчих Кустодиева, такая же белая румяная, как только что испеченный батон хлеба. У них с мужем была и дорогая квартира, и вещи, и драгоценности, и правительственные дачи, вот только детей не было. В тот день она приехала не просто так, не просто так привезла подарки и ласково заговорила.

– Пусть Борис поживет пока у нас. У вас ведь итак двое, вам тяжело будет тянуть третьего. У нас Боренька ни в чем нуждаться не будет. Мы ведь не чужие.

– Спасибо, но в этом нет необходимости.

– Так вам будет полегче.

– Я не отдам Борю. – Еще тверже ответила Клавдия.

– Да ну кто же просит отдавать, чудная ты тоже, просто пожить какое-то время у нас. У родной – то тетки, разве плохо, и ты отдохнешь.

– Я не устала, да и Боре лучше дома, с нами.

– Ну как знаешь.

Тетя Лиза резко встала и вышла, стараясь не подавать вида. Я думаю, она могла бы и посадить, и сослать нелюбимую золовку, но не сделала этого. Что тогда творилась на душе у этой сытой, обеспеченной женщины. Как же больно ей было видеть малышкой и знать, что у нее никогда не будет, она никогда не сможет. Разговор был тяжелый и для нее, и для Клавдии. Напряжение витало в воздухе. Клавдия смотрела с испугом, но говорила твердо. Она наотрез отказалась, хотя жили очень тяжело и бедно, Алексей тогда только устроился на Люберецкий завод имени Ухтомского, получал мало, помогать было некому. Лет через десять тетя Лиза все равно будет звать в гости и забирать на выходные и мою бабушку, и Леву, это, правда, будет всего несколько раз. Бабушка говорит, что там было так скучно, как в тюрьме, ей очень хотелось домой, обратно во двор к ребятам, и больше она к тете Лизе не ездила. А Борю тетя Лиза тогда очень хотела забрать и просила Клаву и потом отдать его ей.

Остальные сестры не приехали ни на крестины Левы, ни к рождению Бориса и Глеба, даже и не посмотрели на близнецов. Держались особняком, у всех были свои семьи, да и обида еще не прошла, Клавдию они считали неровней и осуждали брата. Не высказывали, но обида как невидимая стена чувствовалась, уж лучше бы ругались, лучше бы кричали, чем это тягостное обидное молчание. Вроде и ничего – все нормально, а все знают, что не нормально.

Я смотрю на всех шестерых на этой старой, темной фотографии, заглядываю им в лица, пытаюсь разгадать их мысли, пытаюсь узнать их, ведь уже никогда не узнаю, не увижу вживую, не поговорю с ними.

На этой фотографии не было Алексея, но кто-то переснял ее и заботливо вклеил его между ними и если не видеть, ту изначальную, то и не догадаешься, что на самом деле его там нет.

Всего года на два младше тети Лизы тетя Тоня. Моя бабушка всех сестер называет тетями, а к тете Тоне почему-то прибавляет – тетя Тоня Иванова. На фото она тоже крупная женщина и с такой же прической, как у всех сестер, каре с завитками, волнами уложенное набок. Так было модно. У тети Тони добрый взгляд и улыбка, как будто она сейчас позовет всех обедать или угостит пирожками. Ее муж служил адъютантом у Тухачевского. В то время она уже родила сына, Вовку. Они тогда еще не знали, что через несколько лет Тухачевского арестуют, и за ее мужем тоже придут и больше она его никогда не увидит. Вовке придется трудно, ему откажут в поступлении в институт. Только благодаря тете Лизе, они с мамой останутся в Москве, да и вообще останутся. Все-таки тетя Лиза была доброй, не такой как кажется с первого взгляда и Бориса очень хотела взять, хотела быть матерью и любить. Каждому хочется любить.

Рядом с тетей Лизой, на Петровке, через три дома, жила еще одна сестра, тетя Лёля. Бабушка, так и называет ее тетей Лёлей, а от какого имени сокращение, не помнит. Наверное, ее звали Ольгой, но для всех в семье она так и осталась Лёлей.

У нее встревоженные глаза, будто сейчас заплачет. Она тоже была замужем за военным в высоком звании. Работала на ЗИЛе инженером. В начале двадцатого года у них родилась девочка. Ждали мальчика, имя уже заготовили – Валерий. А оказалось – дочка. Назвали Валерия. Редкое тогда имя.

На Красных воротах, где теперь я работаю, жила тетя Лида, они снимали две комнаты с мужем врачом Чернусом. Она единственная на фото что-то говорит в полуулыбке, худенькая, маленькая, хрупкая, милая женщина. Именно женщина, столько в ней нежного, женственного. Ей бы быть матерью. Но почему-то детей Бог так и не дал.

Тетя Шура, самая веселая и радостная, и самая непохожая на сестер. Круглые щеки и заостренный подбородок, и во всем ее лице что-то напоминающее украинскую дивчину. Она работала во МХАТе и пела в знаменитом трио «Вагина, Захарова и Сокольская» под управлением Раппопорта по всесоюзному радио. У нее родились две девочки, близняшки, Тинка и Ленка, то есть Августина и Елена. У Августины детей не было, она рано умерла. А у Лены – сын, Мишка, и у него тоже родились близнецы, два мальчика. Как выяснилось, у нас в семье было много близнецов, и бабушка говорила, что и у меня могут быть. Но отношения с дочерьми у Шуры не сложились, то ли из-за частых гастролей, то ли из-за непростых отношений с мужем. Бабушка говорит, он вроде был Ленинградский еврей, не знаю, ни на одной фотографии его нет и, глядя на нее, кажется, что она одна, всегда одна. Она приезжала в Люберцы лишь раз, когда хоронили Алексея, и, услышав, как поет моя бабушка, а пела она всегда хорошо, сказала ей: «Ты должна была быть моей дочкой!».

Младшая сестра, тетя Маруся, самая красивая из всех, тоже жена генерала. Пухлые губы, светлые волосы и глаза, личико детское, ангельское. На этой фотографии, где все вместе, кажется, что она дуетя и смотрит как-то обиженно в сторону. И все равно выглядит привлекательной. Жаль, что у нее не было детей. Они походили бы на нее, были бы такие же хорошенькие. Даже после замужества за ней многие ухаживали.

Шесть женщин и у каждой была жизнь, какая-то почти неизвестная мне жизнь. И каждой было уготовано свое горе, и троим досталось хуже всего, они так и не смогли родить.

Я уверена, они жалели, когда уже было поздно, что была эта глупая обида, что так мало общались с родными и дорогими, что так все быстро прошло. А я теперь жалею их, родных, похожих на меня, проживших жизнь. Я думаю, умирать больно, когда рядом нет близких, когда никто о тебе не горюет, когда не успеешь всем им сказать... самое главное. Когда-нибудь я тоже умру, но мне хотелось бы успеть сказать всем моим родным, что я помню их, что люблю, и даже тем, которых уже нет и никогда не будет.

Все сестры жили своими семьями, в гости приезжали редко. Из всех детей в доме остался только Алексей, самый младший. После смерти Гавриила, он стал и единственным сыном.

Гавриил был старшим из восьми детей Марфы Степановны и Ивана, бабушка никак не может вспомнить отчество своего дедушки, она его никогда не видела, он умер задолго до нее. Зато свою бабушку Марфу она помнит хорошо и всегда называет ее по отчеству, словно до сих пор как маленькая боится ее.

Гавриил рано женился, был летчиком, или тогда говорили авиатором, и погиб совсем молодым. Фотографий не осталось, да и память о нем ушла вместе с его сестрами и братом. Его жена, Маша, и сын, Женька, остались жить в доме, в комнате возле кухни. Маша работала портнихой, шила и перешивала вещи. Она обшивала весь дом, и бабушку учила шить. Не знаю от нее ли, или нет, но бабушка умела шить, вязать и когда негде было достать, она варганила все сама и получалось не хуже, чем у именитых модельеров. И когда я поступила в колледж на модельера-конструктора, все мне говорили, что я пошла по бабушкиным стопам. Может и вправду, это умение пришло от тети Маши через бабушку ко мне. Я ведь стала модельером и могла бы остаться в этой профессии, но одно дело шить для себя и для близких, а другое для кого-то, столько нужно терпения, а у меня совсем никогда столько не было. Я распарывала

швы и перекраивала детали подкладки, просто потому что задумалась, отвлеклась и выкроила наизнанку. Мне больше хотелось рисовать, придумывать, и почему-то не хотелось посаживать рукав, обтачивать горловину и втачивать воротники. Я закончила с красным дипломом и ушла насовсем. И теперь выходит, могу, но лень и не охота, да и купить теперь проще, не то что тогда.

Первую бабушкину юбку тетя Маша сшила ей из старого парашюта, который Женька принес с аэродрома, он, как и отец, стал летчиком. Парашюты тогда делали из чистого шелка, тетя Маша покрасила его в черный цвет и сшила юбку.

– Ох, и шикарная же была у меня юбка! – бабушка до сих пор радуется.

А ведь и правда шикарная, сейчас натуральный шелк и в таком количестве мало кому по карману, бешеных денег теперь стоит.

Знала бы бабушка тогда, что у ее внучек даже такого дешевого шелка уже не будет, не на что будет его купить, запаслась бы дырявыми парашютами впрок. Тогда негде было достать, а теперь все есть, только не на что купить.

Тете Маше не нравилось, что Женька увлекался самолетами, и сразу сказал, что будет, как папа, летать. И отговаривала, и запрещала, а он все равно, упрямый был, в бабку Марфу, и даже говорят, был похож. Рос очень замкнутым, обособленным, часто болел и тетя Маша все боялась, во двор его не пускала. А он сядет у окна и смотрит на соседскую девочку Нину Лангер. Ее родители были немцы, точнее отец немец, а мать русская. Они жили в доме напротив, через дорогу, снимали там комнату, работали на заводе. Когда начнется война, их вышлют, как и всех немцев, а Женька пройдет всю войну летчиком, вернется, найдет ее, они уедут вместе, у них родится дочка и будут внуки, где-то они живы до сих пор, но разве их теперь найдешь.

Он был намного старше бабушки, и даже Левы, и поэтому он для нее так и остался взрослым.

– Ну, когда мы были маленькие, он был уже взрослый и с нами не играл! – говорит бабушка с каким-то детским восторженным ударением на слово взрослый.

Ему было чуть больше пятнадцати в то время, он учился, бегал на аэродром и уже гулял с Ниной. Они еще не знали, сколько их ждет впереди, и что кончится все на удивление хорошо, разве что в кино так бывает. А в жизни почти все не дождалось, или потерялись, да так и не нашлись. Они тогда просто жили, просто влюбились, и не знали о войне, я ведь тоже не знаю, что случится в будущем. Если бы можно было вернуться и предупредить, рассказать...

Дом состоял из двух частей, разделенных между собой толстой стенкой, с улицы – два разных входа. В каждой части по пять комнат, не считая мезонина, коридор, своя печка и кухня, чердак общий. Часть дома с мезонином Марфа Степановна сдавала, на это в основном и жили. Ее комната самая просторная, как войдешь с парадного. Дом и вправду был большой, целых две печки, я насчитала на бабушкином рисунке девять комнат, без мезонина, бабушка нарисовала его вслепую по памяти. Такие дома теперь только у олигархов.

У родителей моего мужа, странно писать это слово, еще не привыкла, есть дом в деревне такой обычный старенький с печкой, со старой церковью и чистой речкой рядом. Когда я приезжаю туда, словно бы попадаю в другой мир, на другую планету и хочется остаться там навсегда. Но на что жить, там нет работы, деревня с каждым годом мельчает, раньше у каждого двора было по несколько коров, все держали свое хозяйство, а теперь едва ли три коровы на всю деревню наберется, дома стоят пустые, заколоченные, и с каждым годом все больше дачников, москвичей, приезжих, рыбаков. Земля там не дорогая, вот и скупают, приезжают за триста километров от Москвы отдохнуть и мечтают там жить, да вот только не по карману стало жить в деревне.

А моя бабушка жила. Люберцы были деревней, песчаные дороги, деревянные калитки, а в конце улицы держали коров. Вокруг дома росли березы и одна из них та самая, что выжила, выстояла; за домом баба Марфа выращивала картошку, огурцы и клубнику. Дом дышал, он был живой, как человек. После революции Марфу Степановну стали уплотнять, селили при-

езжих, не особенно спрашивали тогда. Но жили дружно и весело, в каждой комнате по семье. И все как-то делились едой, общались. Лева с трех лет бегал по дому, и все его чем-нибудь угощали, что-то дарили, он был такой симпатичный, пухлый карапуз, как фарфоровый пупс из магазина. Когда родились Борис и Глеб он во всю бегал и разговаривал, а когда Боря начал ходить, он первым пошел, а потом уже и Глеб, Левка брал их с собой, водил за ручки, воспитывал. Говорил, я их тренирую в команду по футболу, будем с папой играть. Борис и Глеб хуже и слабее Левы и в три года прятались за ним вдвоем, да так, что их не было видно. Лева, наверное, уже тогда понял, что отвечает за них, что он теперь главный, капитан команды из трех белообрисых ребят. Они слушались его даже больше, чем Клаву с Алешей. Он различал их как никто другой. Но в детстве им еще не хотелось хитрить, им хотелось быть в единственном экземпляре, и они спорили, что не похожи. И Борис кричал всегда громко:

– Я Борис! Вы запомните, а то станете путать! А мы с Глебом не похожи! Совсем! Вы разве не видите!

Они дрались и ругались, и примерял их только Лева. У других соседей тоже стали появляться дети, а многие уже приезжали с маленькими. И детвора примыкала к команде, они также носились за Левой, слушались его беспрекословно. А Лева слушался маму, и когда она звала обедать, он останавливал все игры и вел ребят обедать, а когда ребята дрались, говорил, как мама: «А ну перестаньте!». И те затихали. Ему нравилось быть старшим. Моего старшего брата хотели назвать в честь него, папа предложил два имени Лев в честь брата бабушки и Алексей в честь бабушкиного отца. Мама выбрала Алексея и наотрез отказалась называть Львом. А Лешка теперь так на него похож. Ему тоже пришлось стать самым старшим, за все отвечать и повзрослеть в детстве и на всю жизнь вперед. Я подарила ему радиоуправляемую машинку на день рождения, а он обиделся: «Я уже взрослый! Это лучше какому-нибудь ребенку подарить».

Мальчишки носились сломя голову, сажая занозы, у Клавы всегда с собой был пинцет, Лева приводил пострадавшего, и занозу быстренько вытягивали, и можно было снова бежать и играть. И казалось, таких дней будет много, бесконечно много и они никогда не закончатся.

* * *

Когда Борису и Глебу исполнилось три, родилась моя бабушка. Дети у Клавы с Алексеем почему-то рождались ровно через каждые три года: Лева родился 17 февраля 1922 года, Борис и Глеб – 10 марта 1925 года, а Лена (моя бабушка) – 25 марта 1928 года. Мою бабушку назвали Еленой, в честь равноапостольной царицы, ее чествование шестого марта.

У Лены были мамины вишневые глаза, широко расставленные и необычные, какие-то то ли татарские, то ли южные. Кто теперь знает. Но у Клавы тоже была нетипичная внешность, кожа смугловатая и такая ровная, гладкая, румяная. А у меня вот кожа белая-белая, как снег, и загораю я плохо, не липнет ко мне загар.

Бабушка пошла в свою маму, только характер папин. Упрямая, озорная, как Алексей. Как только она начала ходить, стала бегать, играть с мальчишками. Они поначалу ее не принимали и жаловались маме, но Лена боевая и посмелее ребят, пришлось им брать ее с собой. В доме было много мальчишек, а девочек кроме моей бабушки не было, только в соседних домах, поэтому бабушка дружила в основном с мальчишками.

У бабушки есть фотография, где ей три годика. Она стоит рядом с березкой и держит кота Базильку. В кофточке и в белом чепчике, решительная и серьезная, кот в ужасе пытается бежать, но Лена держит две его лапы в одной руки и две в другой. Базилька обычный серый кот, с буквой М на лбу, он шустрый и хитрый, но бабушке противостоять не может. Бориса с Глебом он всегда кусал и царапал, а Лену не трогал, зато она вертела его, как хотела. Он залезал от нее на березу, и Лева приходилось лазить за ним и снимать.

В мае тридцать первого года у Клавы с Алексеем родился еще один ребенок, девочка. Назвали Елизаветой в честь сестер, и у Клавы, и у Алексея была сестра Елизавета. Только дома девочку все звали Люсенькой. Сохранилась только одна ее фотография: ей там полгодика, бабушка держит ее на руках, а ребята стоят по бокам. Через месяц после этого снимка Клаве нужно было срочно уйти по делам и пришлось оставить девочку с соседкой, которая жила в мезонине. Та недоглядела, и Люсенька выползла на крыльцо, на улице стоял сильный мороз, а она почти голенькая, простудилась, заболела ангиной и умерла.

Тяжелее горя и представить нельзя. Как все это Клава пережила одному Богу известно, а бабушка даже теперь плачет: «Так и не было у меня сестренки!».

На похороны приехала только Вера, Клавина сестра. С ней и с Лизой они поддерживали связь, а остальные из семи детей священника Александра растерялись по всей стране, а может и дальше, кто же теперь знает. Вера приезжала, помогала, все что-то везла и тащила сестре и племянникам. Она вышла замуж за пианиста Николая Критского и у них было два мальчика: Шурик и Коля, они чуть младше моей бабушки, вместе играли, росли. Тетя приезжала часто. И была крестной и мальчишек, и моей бабушки.

Батюшка отпел маленькую Елизавету. Клавдия почти не плакала, все молилась. Дома иконки так и не убрала, не спрятала, хотя сколько раз говорили:

– Убери, беда будет. Детишек хоть пожалей.

А Клава не слушала. Складень необычайной красоты, старинный, оставшийся от матери с изображением Веры, Надежды, Любви и матери их Софьи, лики спасителя и Богородицы продолжали стоять. И беда не приходила, как-то обошлось, а ведь это были тридцатые.

Крошечный гробик опускали в землю, ребята молчали, непривычно тихие, они словно повзрослели на несколько лет. Только Лена все дергала Глеба за рукав:

– Скоро еще? Скоро домой?

Было холодно, пробирало до костей. Глеб молчал, смотрел тихими серыми глазами, и тонкие его губы казались еще тоньше. А напротив, словно его отражение стоял Борис, он хмурился и старался не смотреть на гроб, страшно.

И когда уже засыпали землей, Глебу подумалось, как же она там без света, в темноте? А как же ей дышать? Несмотря на то, что мама все время молилась, говорила про спасение и про другой мир, было непонятно и потому пугало. Он посмотрел на Бору и увидел, что он думает тоже. Его поразила мысль: что же если Борис умрет, то и я умру, а если я, то и он, а вместе не страшно и ему стало спокойнее.

* * *

Возле красного дома был пионерский форпост. Около него собирались ребята, поднимали флаг, устраивали построение, натягивали сетку и играли в пионербол. Бориса с Глебом не хотели ставить в одну команду – слишком слажено играли, но Лева ни в какую не отдавал их. А он был одним из самых старших, и у него была труба, а у Сереги с соседнего дома – барабан, за это и за старшинство их уважали и слушались. А Лёва с детства чувствовал себя командиром. Бору с Глебом всегда считал своей командой, брал их на футбол, поболеть за папу. Алексей играл за люберецкую команду, участвовал в соревнованиях. Лева с детства мечтал о футболе, сам тренировался и ребят тренировал. А когда родилась Лена, долго не хотел ее брать в команду, а она оказалась в сто раз быстрее и Бори, и Глеба вместе взятых, играла лучше всех, и Лева взял и ее. Спорта было много: футбол, городки, хоккей, бокс, волейбол, бег, шахматы. Все время во что-то играли, бегали, прыгали, когда не было каких-то снарядов, придумывали им замену сами.

Несколько раз в неделю взрослые, то есть Лева, Серега, еще несколько ребят и Зоя, уже комсомолка, собирали детей по парам и вели в кино, через дорогу, сначала там был клуб, а

потом кинотеатр сделали. Зоя старалась невзначай стать в пару слевой, а он как будто не замечал и как нарочно тащил за руку кого-нибудь из братьев или сестру. Зоя – высокая девчушка, с тонкими длинными белыми косами. Она смотрела на Леву и говорила:

– У тебя глаза такие синие-синие, а если на свет посмотреть, то зеленые, как море.

– Сама ты море! Лёв, пойдем! – дергал за руку Боря.

Боря был беспокойнее Глеба, но если они были вместе, то оба становились шепутными. На всех детских фотографиях, они все время корчили рожицы, кто кого переборчит, а выходило у них одинаково. Зато на фоне спокойных детских лиц, разных возрастов, одетых, кто во что горазд, их сразу видно. Они уже ходили в школу, в старую деревенскую, деревянную. Новую только строили, прямо напротив их дома, совсем рядом. Возили кирпич на больших машинах, мальчишки напрашивались помогать, лишь бы чуть прокатится. И шоферы подхватывали и провозили несколько метров. Это было такое счастье, такой восторг, у ребят перехватывало дух. Борис и Глеб катались по очереди, пока один делал уроки, другой катался и наоборот, места было мало, тогда они все еще ютились в одной комнате и за столом вместе слевой не помещались.

– Эй, я ж тебя сегодня уже катал! – удивлялся шофер.

– Не меня, брата! – привычно пояснял Глеб.

Школа номер шесть из белого кирпича до сих пор стоит. И по ней я ориентировалась, когда искала дом.

А Клавдия с Алексеем вскоре заняли еще одну комнату. Баба Марфа запрещала ребятам носиться по дому и запирали их в комнате, когда мамы с папой не было. Они жаловались Алексею. И как только мужчина, живший в соседней комнате, предупредил, что съезжает, они перетащили туда вещи.

Марфа Степановна пошумела, мол, сдать ее хотела и все такое. А Алексей отрезал:

– Там будут дети. Пусть бегают, сколько хотят, нечего их закрывать в четырех стенах, что они тебе скотина какая что ли!

Марфа Степановна промолчала, знала характер сына, поджала губы, подсадовала про себя и ушла.

Жили очень бедно, работал один Алексей. В конце улицы держали коров и Клава под его зарплату, в долг, брала трехлитровую банку молока. Каждый день дети по очереди выбирали, что мама будет варить. Лева любил геркулесовую кашу и молочную лапшу, Боря с Глебом – пшенку, а Лена – манную.

Все в доме держалась на Клавдии. Алексей вспыльчивый, и кричал, и ругался. А Клава промолчит и уйдет, и ни слова ему в ответ. А он через час, опомнившись, сам бежал просить прощения. Бабушка, вот бы и мне так научиться, что же нам то всем это не передалось. Как же это быть женой? Никогда с мужем не спорить, всегда встречать его с улыбкой и в доме хранить мир. Отчего же нас так не научили. Или так только ты умела.

* * *

Юра Карцев объявился случайно. Он тоже жил тогда в доме, вместе с родителями и братом, они снимали комнату на чердаке. Ему уже за восемьдесят, ровесник моей бабушки. Он как-то разыскал ее телефон и позвонил, а потом и я ему, мне стало интересно, они с Глебом дружили. Живет он один, никому не нужный, но в здравии, соображает, даже на роликах катается, пишет стихи, песни, поет и играет на гитаре. Весь вечер наигрывал мне в телефонную трубку. И столько всего, вспоминал, рассказывал. И когда говорил, вместо восьмидесяти четырех ему снова становилось просто восемь. Он бежал во двор к своему лучшему другу – Глебу. Впрочем, слушая его рассказы, я вскоре поняла, что он их с Борисом не различал. Я уже ошибочно узнавала их по духу, по взгляду, по выражению лица, по характеру, по каким-то

непостижимым признакам, которые и не объяснишь. Они были разные: Боря – подвижный, задиристый, громкий, а Глеб – тихий, медлительный, спокойный. А вместе – не отличишь, один как другой. Юра Карцев, худющий, темноволосый мальчишка с ярко-зелеными глазами, даже сейчас в его восемьдесят с лишним, они такие же зеленые, разве что потускнели немножко, не такие яркие, как раньше, выбегал во двор играть и играл с тем, кто там был, и совершенно не задумывался – кто это: Борис или Глеб. Да и зачем было задумываться восьмилетнему мальчишке, ему хотелось играть, бежать, хотелось приключений. И он был уверен, что все время дружил с Глебом, и я не стала его расстраивать, что временами это оказывался Боря, ведь он доверял ему, у них были тайны, секреты и громадье планов.

Как-то в середине лета, когда папины алые георгины уже вовсю цвели, Алексей сажал их каждый год под окнами, Глеб с Юрой пошли прогуляться до конца улицы. Рядом с шоссе – старая кузница. Ребята нередко бегали туда, смотреть на лошадей, подбирали подковы, железки и всякий мальчишеский хлам. Туда приезжали цыгане подковывать лошадей. Вот и в этот раз Глеб увидел их:

– Юрка, смотри цыгане, пойдем поближе!

Ему все было интересно, Борис бы не пошел.

– Да ну...

Забоялся Юрка.

– Че испугался?.. – подначивал Глеб. – Ну я один пойду.

Карцев засеменил вслед.

– Они, говорят, чертей с собой водят, черных таких. – Не унимался Глеб.

Он подошел почти вплотную к стоявшей рядом молодой цыганке, хотя по их меркам, она уже была старовата, лет двадцать, чернявая в нескольких юбках, полусползшем платке, с длиннющими нитками бус и золотыми украшениями, рядом крутились чумазые маленькие цыганята. Приставали к прохожим, просили денег, смеялись громко и неестественно. Люди старались проскочить, не поднимая глаз.

– Дорогой, дай рублик! Я тебе погадаю? Всю правду скажу!

– Вранье твое гаданье! И все вы обманщики и попрошайки!

– Чтоб у тебя все плохо было! Вижу, умрешь скоро!

Махнула рукой в сторону Глеба и ушла.

– Глеб, пойдем, а?

Юра весь сжался точно от холода.

– Да ну ее, ничего мне не будет! Гляди, лошадь черная.

И они подошли поближе посмотреть.

У меня теперь в подъезде тоже цыгане. Алкоголики под нами разъехались, спились совсем, квартиру ЖЭК теперь сдает. Я вижу их каждый день на лестнице, маленькие, побольше, старшие и совсем взрослые – их так много, что кажется, они как тараканы, откуда-то все появляются и появляются. Я думала, они просто нерусские, кавказцы, каких в нашем доме все больше, квартиры часто остаются бесхозными, родственники, так и не находят, кого-то выселяют через суд за неуплату, а оказалось на этот раз цыгане. При входе в подъезд весит объявление: «Уважаемые жильцы! В ходе следствия было установлено, что в вашем доме продают наркотики. Если вы располагаете какой-либо информацией, позвоните по телефону...». Но никто не звонит, и всем все равно, у нас так уже давно, каждый думает – лучше не связываться, каждый сам по себе. Откуда это, ведь раньше этого не было. По вечерам на кухне, я слышу как за стеной большой, довольно упитанный цыган-отец плачет и говорит что-то на своем цыганском. Они все время носят какие-то коробки и ездят на разбитых жигулях. Мама говорит, что зря я плохо о них думаю, и может это кто-то другой, непонятные узбекские строители со второго или кавказцы с пятого. А я и не думаю, я перешагиваю через использованные шприцы у мусоропровода, как и все остальные.

Через неделю после этого случая Глеб заболел, температура сорок, лежал в полубреду. Врачи не могли понять, в чем дело. Прошло две недели диагноз так и не поставили. Он таял на глазах, не мог ни есть, ни говорить. Клавдия плакала, молилась Богородице, всю ночь стояла на коленях, читала молитвы.

Борис все время ходил за мамой и повторял одно и то же:

– У меня голова болит! Мама, мамочка, как же у меня голова болит!

Но его не слушали и не замечали. Только потом поняли, что он говорил за брата, который не мог ничего сказать.

Утром Алексей привел какого-то знакомого частного врача. Он поставил Глеба перед собой, посмотрел на него и сразу сказал:

– У него воспаление лобной пазухи! Нагрейте ему полную ванную воды и пусть пропариться!

Никакой ванны в доме, конечно, не было, но у Клавы был большой бак, в котором кипятили белье. Они с Алексеем нагрели воды, посадили туда Глеба, он так обмяк, что они вдвоем его еле вытащили, уложили в кровать. Он спал целые сутки. У них с Борей была двухэтажная кровать, обычно они по очереди спали сверху, а теперь Глеб уже неделю лежал внизу. Боря подходил садился рядом и начинал что-то рассказывать, а Глеб в полузабытьи делал вид, что слушает. В этот раз он тоже пришел и все говорил, доставал из кармана какие-то трофеи, гайки, болты и прочее. И сам не заметил, как уснул рядом. Когда пришла мама, они лежали рядом, почти неотличимые друг от друга, светловолосые, сероглазые, худенькие мальчишки, с тонкими чертами лица, только Боря был в феске, в рубашке и шортах, а Глеб, укутанный в кокон одеяла, но оба едва заметно улыбались. Глебу снилась поляна цветов, папиных георгинов, они росли повсюду и шапки цветов были величиной с голову, он бежал по этому полю и где-то слышались голоса, то мамина молитва: «Богородица Дево, не презри мене грешную, требующа Твоя помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй мя...»; «Царице моя преблагая, надеждо моя Богородица, приятилище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости...»; то голос Бори: «А там ёж, представляешь настоящий, мы его кормить ходили, а Левка сказал, принесет тебе показать...». Звуки появлялись и пропадали, превращались в пение птиц, и становилось так легко, так радостно. Проснулся Глеб через сутки совершенно здоровым.

Правда, на улицу его еще не пускали, но зато приходил папа и читал подолгу, ему одному, а сбегались все ребятишки. Алексей с таким выражением читал – ребятишки сидели с открытыми ртами и слушали, не шевелясь и забыв обо всем. Он словно не читал, а рассказывал, очень-очень интересно. Если случались ссоры и надо было утихомирить детей – лучшего способа не было. Правда, Алексей редко бывал дома, работал до поздней ночи, приходил, когда дети спали. Только Лев ждал его до последнего, не ложился. А в выходные они вместе ходили на стадион, играли в футбол. Лев был ближе всего к папе, и для него отец всегда был кумиром, высшей инстанцией справедливости. Так, наверное, и должно быть, всем мальчишкам нужен отец, нужен пример на кого ровняться. Когда ушел мой отец, брат не знал, как пережить, словно в нем что-то сломалось и уже не починилось, он по-прежнему обожал его, смотрел ему в рот, слушался его, но как после этого жить, он не знал, не знает и теперь, хотя полжизни уже прошло, он взрослый дядя.

* * *

К Новому году в школе устроили утренник или огонёк, не знаю, как это называлось в то время, ребята пели, читали стихи, ставили миниатюры, отрывки из пьес и тому подобное. Народу – не протолкнутся, родители с детьми, друзья, соседи. Даже новая, только что постро-

енная, шестая школа всех не вмещала. Она стоит и поныне, старая, обшарпанная, до сих пор работает. Но тогда она была новая, пахла свежей краской. Моей бабушке – восемь. Она нарядная, в белой кофточке и чёрной юбочке, а на голове большой бант, стоит посреди зала и все на неё смотрят, она должна прочесть стихотворение. Отрывок из Онегина.

У неё всегда была очень хорошая память, стоило прочесть один раз, и она запоминала цифры, стихи, имена – хоть ночью разбуди. Рассказывать и петь она очень любила, умела с выражением, как папа, и голос был громкий, сильный, дома она часто рассказывала стихи, пела, когда приезжали гости, её ставили на табуретку, хлопали и говорили:

– Лена, ты, наверное, артисткой будешь!

– Нет, певицей, как тётя Шура! – Бойко отвечала она.

И вот, бабушка стояла на сцене, смотрела по сторонам вишнёвыми глазами, и ни капельки не стеснясь, громко начала:

– «Мы все учились понемногу

Чему-нибудь и как-нибудь,

Так воспитаньем...»

Она вдруг умолкла и с испугом стала оглядываться по сторонам. Все подумали – забыла, стали подсказывать, отовсюду шептали: «Слава Богу, у нас немудрено блеснуть».

Клава очень удивилась, ещё вчера, дома, рассказывала без запинки, переволновалась, небось, сейчас соберётся и вспомнит. А Лена стояла и молчала. На глаза наворачивались слезы. Нет, она не забыла, она помнила, и помнит до сих пор, этот отрывок наизусть. Но там было это слово, слово, за которое посадили родителей её соседки по парте, никто не говорил впрямую, но она слышала перешептывание, разговоры, когда все уже спали. И как бабка Марфа говорила маме:

– Клава, ради Христа, убери ты иконы. Ребят сиротами оставишь. Забыла, как с твоим отцом. А ежели, кто узнает, что мы ходим... Уже ведь троих забрали. А отца Арсения, говорят, на смерть забили...

И что-то еще полушёпотом всё говорила бабка. И учительница в школе всегда ругалась, если Лена вдруг нечаянно говорила это слово, даже если просто так без всякого умысла, сердито смотрела:

– Ты, Лена, забудь это слово и больше никогда не произноси, поняла?

Это слово было Бог. И бабушка заплакала горько и громко. Клава увела её, успокоила, но так и не узнала, в чём было дело, и никто не узнал, но сказали, что артистки из Лены не выйдет.

* * *

Так же, как Лев, любил отца, Глеб с Борей любили и уважали его, он был им ближе всех, старший, командир, и они всегда заступались за него, кто бы что ни сказал, бывало и до драки доходило, два худеньких совершенно одинаковых на вид мальчишки такого не прощали. Впрочем, случалось это редко, Лёва был высокий, крепкий, сильный, его все уважали. Лёва гордился братьями, гордился тем, что они готовы за него в огонь и воду, и что он умел их различать и их хитрости с ним не проходили. Клава отличала их с детства, как мать. А Лена заметила, что после болезни, Глеб стал немножко сутулиться, словно боялся, что его сзади ударят по голове. Когда она видела в окно, как он идет к дому, тут же кричала:

– Мам, Глеб идет!

Может, ей это только казалось, но Клава тоже стала замечать.

Ребята так хорошо ладили, что даже представить их по отдельности было нельзя. Вечером они вместе с Лёвой хором звали Лену:

– Елена, домой!

И это было бескомпромиссное домой, не мамино и не папино, и Лена на них очень злилась. Так хотелось еще погулять. Она дула щёки и, нехотя шла, словно сама собиралась, а не её позвали. Боря дразнил ее:

– Дуйся, дуйся – скоро лопнешь!

А Глебу было жалко Лену, он никогда никого не подначивал, так делал только Боря, и по этой особенности, так же можно было отличить их. А проще всего было за столом или в школе на чистописании – Борис ведь был левшой.

Лена скидывала чёрную беретку, тёплую фуфайку, потом резко сбрасывала ботинки, снимала тёплые шаровары, которые одевались под юбку, и, всё ещё хмурия брови, садилась за стол со всеми. Ели картошку.

– Завтра Лиза с Федей и с ребятами приедут, и Вера с Колей собиралась, – вспомнила вдруг Клава.

Лиза старшая Клавина сестра вышла замуж за Федю Балакшина и их дети: Нина и Вова дружили с ребятами, часто бывали друг у друга в гостях, жили они на Красносельской. Дядя Федя, как зовёт его бабушка, был очень добрый, работал он, кажется, тоже на каком-то заводе, бабушка так и не вспомнила, она только всё повторяла: «Он был очень добрый». И, правда, на всех сохранившихся фотографиях у него такое добродушное лицо. Он носил фуражку и оттопыренные уши забавно торчали по бокам, словно дядя Степа из детской книжки, он широко улыбался. Такая же улыбка была у Вовки, у его сына, он ровесник Левы, а Нина года на два помладше. В прошлом году ей исполнилось девяносто четыре, она каждый день звонит моей бабушке, они подолгу болтают, правда, она почти уже ничего не помнит или не хочет помнить.

Клава ставила тарелки и принесла ложки. Завтра Лёве исполнялось четырнадцать. День рождения отмечали редко, в основном собирались по церковным праздникам, обязательно отмечали Пасху и Рождество. Бабушка не помнит дни рождения родителей, но именины, день Ангела, мамин – 31 мая и папин – 2 июня, а следом ее, Елена – 3 июня, помнит хорошо, всегда отмечали, собирались все вместе. А Лёве повезло, у него день Ангела совпадал.

– Пап, ты купишь мне гитару?

Лева давно просил. Хотел научиться играть. Но Алексей не спешил с ответом, дожевывал, запивал. С деньгами было туго.

– Посмотрим!

Лёва едва сдержал радостную улыбку. Это «посмотрим» от отца было всё равно что твердое «да».

Гитару привез Коля Критский, Верин муж, он аккомпанировал певцам, преподавал, ему как пианисту достать гитару ничего не стоило. Они приехали вместе с Шуриком и Колей.

Вкусно пахло мамиными пирожками. Клава пекла постные пироги с капустой, с картошкой, с вареньем, получалось бесподобно. Мой папа до сих пор рассказывает мне про эти пироги, в детстве, когда он жил с бабушкой, она тоже часто делала их. Сколько он потом не пробовал пирогов – таких никогда больше не ел. Как она их делала? Рецепта не оставила, а может, никто и не просил. Клавдия хорошо готовила, и даже больше, чем хорошо, ведь тогда приходилось буквально из ничего.

Сели за стол, старый деревянный, круглый, он стоял посреди комнаты, ребята вытащили с утра. Сели, как это обычно бывает, и дети, и взрослые, все вместе, сначала говорили о погоде, о каких-то знакомых и всяких мелких делах, потом выпили и разговоры стали открытее и острее, дети к тому времени, нахватав пирожков в карманы, уже повыскакивали из-за стола. Лёва с Вовкой сразу ушли по своим делам, взрослые и независимые. Борис и Глеб с девчонками лазили по чердаку. Юрка Карцев кричал, что нашел что-то такое, такое, что и описать не мог, но за пирожок согласился показать. Под старым сундуком лежали пожелтевшие листы жандармских донесений. Некоторые были датированные, другие перечёркнутые, начинались они одинаково, от такого-то августа 1900 года или 1903-го, а одно было 1856-го, а потом шли

исписанные пером страницы, там говорилось, что Петр Иванович Кожемякин напился; Авксентий Григорьев украл лошадь у Еремеева; Фрол Митрофанов увёл корову со двора Мироновых... а еще про то, кто кого оскорбил, подрался и тому подобное, и о политических было, что такой-то ведет себя странно, посещает кружки или организации... столько ещё всего. За подписью жандарма Ивана Вагина, выведено аккуратным каллиграфическим почерком, такой же красивый почерк с завитушками был и у деда Алексея, передался от отца или всех так учили тогда. Детям все эти надписи были непонятны, чувствовалась лишь какая-то тайна, загадка и потому тянуло и было интересно, разгорелся спор, кому отдать бумаги. Боря, увидев подпись деда Ивана, кричал:

– Значит, это наше! Отдай!

Юрка сопротивлялся и не хотел отдавать:

– Это же я нашел, значит, моё!

Порвали почти всё. Пока на шум не пришла Клава и не забрала всех обратно за стол.

Это был тридцать шестой год. Но о тех, кого посадили или расстреляли, не говорили, страшно было говорить, хоть и все свои, родные. Федя с Лизой и Вера с Колей самые близкие для Лёши с Клавой. Женщины, связанные одной тайной, расстрелом отца, об этом всегда молчали. Алексей молчал про сестру, у Тони забрали мужа, и все боялись, что могут и её, и сына. Каждый о чём-то своем боялся сказать, да и о грустном не хотелось. Пели песни, как и всегда. Алексей хорошо играл на гитаре, они с Колей подбирали знакомые мелодии.

– По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах...

Эту знали и дети, пели все. У Смысловых, эта Клавина девичья фамилия, всегда был хороший слух, остальные все – как могли, Критский терпеть не мог фальши, иногда они с Лёшей даже ругались из-за этого, но в тот раз Коля ничего не сказал. И другие русские народные тоже пели. И было светло и весело, все смеялись. Пили много, но никогда не напивались и не похмелялись. Утром выпивали крепкий чай и шли с ребятами на стадион, гулять и играть.

* * *

Часто приходили и соседи, тогда жили дружно и знали всех соседей в лицо. Через дорогу поселился художник Коля Морозов, по праздникам он тоже обычно бывал, да и так захаживал. Писал в основном портреты на заказ, а для Алексея скопировал картину «Охотники на привале» и изобразил его одним из охотников. Вроде в шутку, а вышло красиво, подарил ему на память. Лёша как раз пристрастился в то время к охоте, не сказать, что много приносил добычи, но очень любил ходить на охоту, брал с собой Лёву и ребят. Лёва с Борей учились стрелять, били по бутылкам, а Глеб ходил по лесу, столько там всего интересного, какая-то своя отдельная жизнь, он мог часами смотреть на муравейник, там все куда-то спешили, все – винтики большого механизма, но жизнь одного отдавалась ради других, когда они с Борей были поменьше – всё время таскали муравьев из леса, сажали их куда-нибудь, а те не взирая ни на что, заново начинали строить свои муравейники, их отсаживали опять и всё повторялось снова и так до бесконечности, мама ругалась, когда тащили их в дом, а больше всего им тогда досталось за лягушек, они с Борей насобирали разных лягушат, маленьких, побольше, самая большая – огромная жаба, которая всё время квакала и кричала дурным голосом, играли в армию, жаба была верховным главнокомандующим, остальные в зависимости от размера в разных званиях, всё это войско мигом распрыгалось по всему дому, ох, и получили же за это от мамы, она повыкидывала всех боевых офицеров обратно на улицу, и долго ещё пришлось стоять в углу и просить прощения, стрелять Глебу не нравилось.

– Глеееб! – Боря крикнул и эхом отдалось на поляне. – Смотри, кабаны.

Земля возле ручья истоптана копытами и по помёту было сразу понятно, хотя ребята ещё соприли, может, лоси тоже были тут.

Обедать садились на пригорке, хлеб с луком, картошка, квас, мама собирала. Так хорошо, все вместе, всем весело, все живы. Кажется, так всегда будет. Папа, Лёва, Боря с Глебом, а дома – мама с Леной уже ждут.

* * *

Лёва собирался поступать в техникум, все так на это надеялись. Он всегда хорошо учился, отличник, и теперь так радовались – стипендию получит, а потом работать пойдет, будет помогать, жить станет полегче. Лёва очень переживал в глубине души, что вдруг не получится, да и вообще, то и дело заговаривал об этом с папой, шутил над ребятами. Отдавал свою еду то Боре с Глебом, то соседским ребятам, считал, что ещё не заслужил. Юра Карцев вспоминал, что они с младшим братом, как-то стояли около туалета – деревянный, на улице – возле него росла цветущая, душистая сирень, Лева вышел.

– А вы чего? – удивился.

– Чего, чего. Туда.

– Постучать что ль не мог.

– Стучал.

– Чё-то я не слышал. Какие-то вы хилые, смотреть на вас страшно, у меня там больше, чем вы вместе взятые. – Засмеялся. – Идите к нам, мама кашу сварила.

Почему Юре запомнилась именно эта хулиганская Лёвина выходка, не знаю, но они и вправду тогда были совсем прозрачные, есть нечего, а Лёва подкармливал, делился своей едой, хотя и подшучивал, жалел их.

Лёва всё больше походил на Алексея и лицом, и характером, может, потому что старался ему подражать. Правда, за лето он вымахал и теперь был даже выше отца и шире в плечах, в нём уже стала проявляться какая-то особая мужская красота – храбрость, благородство, честность – все это вырисовывалось в чертах лица, ровных, правильных, во взгляде, в быстрой походке, и в ровно зачёсанных, как у Алёши, светлых волосах. Он был словно герой из книжки. Ему хотелось походить на героев своего любимого Гайдара, он верил, что на свете есть справедливость, что надо бороться за правду и защищать слабых, и скоро на земле наступит такое время, когда никто никого не будет обижать – а все будут жить счастливо, и он будет зарабатывать, чтобы и у мамы, и у Лены, и у Бори с Глебом всегда была еда, и чтобы папа гордился им. Девчонки заглядывались, а он со всеми одинаково приветлив, серьезен и холоден. Он считал, что это должна быть встреча на всю жизнь, что раз увидит – и навсегда, поймёт, что это та самая и единственная, такая особенная среди всех. И ни красавица Зоя, ни другие его одноклассницы не подходили, они были обычные, известные с детства и вовсе не особенные.

Он встретил ту особенную через год и сначала не понял. Для подготовки к экзаменам надо было ходить в библиотеку, книжки достать непросто. А поступить в техникум необходимо. И Лёва ездил, читал, что-то выписывал, заучивал. А за соседним столом сидела девушка, смешная, вся в светлых кудряшках и с книжками по химии. Изумрудные глаза с непривычно-темными для светлого лица ресницами и бровями смотрели в книгу, а иногда робко на него. Они переглядывались так много раз, и однажды она не выдержала и улыбнулась, у неё были тонкие губы и ямочки на щеках, как у ребенка. Девушку звали Люсей и готовилась она в медицинский.

– Я хочу стать врачом, чтобы вылечить всех людей, чтобы никто больше не болел.

– Так уж всех и вылечите?!

– А что? Вылечу, всех-всех.

Лёва смеялся.

А навстречу им шли Боря с Глебом.

– Вот, знакомьтесь, это мои братья Борис и Глеб.

– Ой, вы близнецы?!

Боря с Глебом, довольные, улыбались. Им нравилось, когда обращают внимание. А Люся так искренне, так по-детски удивилась.

– Это же так интересно, это же научный феномен, почти неизученный, я столько читала об этом. Вы, небось, и экзамены друг за друга сдаете?

– Да нет, Боря – левша, разгадают. Хотя бывает, хитрим.

– Ой, между вами же можно желание загадывать.

Она встала между ребятами и дотронулась до плеч.

– Все, загадала.

Ребятам стало весело.

– Ага, скажите, если сбудется.

Люся была такая весёлая и, казалось, такая беззаботная, трогательная. Хотелось защищать ее ото всех, хотелось, чтобы она улыбалась, Лёве так нравились ямочки на щеках, и он сам не мог объяснить, что он в ней нашел и что такое непонятное с ним происходит.

Он мешал чай уже десять минут непрерывно и улыбался. Он мешал его той самой ложкой, что и я, когда пила у бабушки чай. Серебряная с инициалами Л.А., чьё-то фамильное добро. Алексей когда-то давно купил её Лёве на Крестины на базаре, тогда многих раскулачивали и продавали вещи, а кто-то и просто распродал, чтобы выжить. Кто этот Л. А., где он, кто же теперь знает. Удивительная ложка, сколько ей лет, а она не потемнела, совсем другое тогда делали серебро.

Есть у меня и ещё одна памятная ложка, немецкая со свастикой и заточенным краем, только досталась она мне от другого прадеда. Он был на войне связистом, а связисты часто первые доползали до чужих окопов и что-то трофейное себе брали, а может, она и как-то иначе ему досталась. Где она была? Что ели этой ложкой? Или, может, ей убивали немцев? Зачем на ней заточенный край? Я не знаю. Она со своей историей, с целой жизнью, которая больше моей. Она самая огромная и надежная из всех ложек в доме, ей всё нипочём, хоть катком ее укатывай, всё равно форму не потеряет.

* * *

– Как думаешь, Лёвка влюбился? – задумчиво спросил Глеб.

– И что у тебя всё влюбился, да влюбился! Что он барышня кисейная! Делать ему больше нечего, как влюбляться! Она в него сразу видно влюбилась, а наш Лёвка хоть бы хны! И что это ты вдруг такие разговоры заводишь! – кипятился Боря.

Но Глеб же знал, что Борька просто не хочет сам признаваться. И нарочно делает вид, что ему всё равно и говорит так презрительно:

– Что? Чтобы я в какую-то там девчонку влюбился?! Да не дождётесь!

А уже все стали замечать, как Боря смотрит на соседскую девочку Машу Захарову. Они с Леной учились в одном классе и дружили втроем с Сашей Карасёвой, девочки звали её Шурой. Шуре нравился Глеб. Борис и Глеб ходили встречать Лену, а заодно и девчонок провожали по домам. Но Боря всё никак не признавался, хотя по нему больше всех было видно, он и ревновал, и обижался, и в то же время молчал и ни за что не признавался, даже Глебу, родному брату, от которого никогда не было никаких секретов и которого он всегда считал, как самого себя, или частью себя. И хотя тот итак знал и чувствовал его всего, ему всё же хотелось, чтоб Боря признался. Ведь они всегда друг другу всё рассказывали, что же теперь. Он специально всё выводил брата на эту тему.

– А сам-то что, не влюбился что ли?

– В кого это?

– У самовара я и моя Маша... – запел Глеб в шутку и засмеялся.

Боря сжал губы и отвернулся.

– Да ну тебя.

– И что ты не признаешься?

– А сам что же?

– Ты только не сердись, я...

– Что Шурке признался?

– Да нет. Я – Маше, как будто от тебя, ну чтобы узнать...

Боря резко дёрнулся за братом, попал по уху, схватил за ворот. Глеб оборонялся, пытаясь его отпихнуть.

На шум прибежал Лёва, свистнул, ребята продолжали кататься по полу.

– Так. А-ну разошлись! Разошлись, говорю!

Еле разнял.

– Что такое? Что случилось?

Боря сложил руки на груди, вскинул на бок отросший светлый чуб, насупился. Глеб в другом углу сделал то же самое, будто зеркало, оба были сердиты. Молчали, Лёве ни слова, да и стыдно было сказать.

Лена из кухни:

– Папа идет.

– Смотрите мне оба!

Ушёл в кухню.

– Лен, чего они?

Лена спокойно наливая кипяток в кружку, ставя тарелку отцу.

– Глеб пошёл к Маше и признался ей в любви будто он Боря.

Лёва усмехнулся.

– Да, она поняла, догадалась, что это не ты... – Задыхаясь, первым начал Глеб. – Таких же больше нет дураков. Ты один такой.

– Ладно, прости, не хотел... – И Боря уже шел обниматься, он быстро остывал.

– Ты тоже. Я как лучше думал.

– А она что? – полушёпотом, не утерпел Борис.

– Что-что... Сказала, Борис, я ваша навеки, – захохотал Глеб и побежал по коридору.

Боря выбежал за ним на улицу. Они стояли возле папиных красных георгинов размером с тарелку. Солнце садилось, и дом весь светился в закатных лучах. Берёза шелестела серёжками.

– Я тебе всё-таки набью морду. Будешь отличаться.

– Ладно. Ничего она не сказала. Хихикала, догадалась, что это не ты.

* * *

Маша круглолицая, с большими голубыми, цвета неба, глазами. Что-то такое не объяснимо лукавое и загадочное было в её взгляде, словно смотрела исподлобья, и в то же время добродушная, такая милая улыбка – это противоречие притягивало, она казалась, красивой, несмотря на заострённый, неправильной формы нос. Смеялась она не потому, что догадалась, что это Глеб, а потому что не знала, как реагировать. Тогда никто об этом и не думал, тем более всерьёз, совсем не то, что теперь. Моя бабушка не смотрела на мальчишек, да и мальчишки как-то ни о чем таком не помышляли, дружили, были пионерами, вместе бегали на форпост, собирались в комсомол, мечтали работать и учиться. Всё как-то было иначе. Лёва хоть и влюбился, но считал, что даже думать-то об этом не стоит, и знакомить с родителями, пока не пойдет работать, не собирался. Лена и Глеб и вовсе были беззаботные, Боря стеснялся при-

зняться, да и не главное это. Весело было всем вместе играть в волейбол, ходить в кино, на демонстрации.

Девчонки часто после школы сидели в комнате у тётки Мани, смотрели модные журналы, учились шить, Женька поздно возвращался с аэродрома, тётке Мане с девчонками веселей. Она стучала на старой зингеровской машинке, девчонки разглядывали модели в журналах, перерисовывали выкройки, иногда тетя Маня разрешала примерять им платья, которые она шила на заказ.

Шурка, как и Маша, была светловолосая, только заплетала их в круглые золотистые баранки, а Маша укладывала улитками на макушку. У Шурки остренький нос и маленькие глазки, как у птички, улыбочное лицо, встрепанные волосы. У нее внутренняя, неподдающаяся описанию девичья красота, а Маша холодная. Бабушка среди них ещё ярче со своими вишнёвыми глазами и тёмными кудрями до плеч. Они крутятся перед зеркалом, такие не похожие, такие молодые.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.